Вадим Вацуро
о Лермонтове

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Тема «Лермонтов и Мицкевич» занимает исследователей уже на протяжении столетия. Мы сейчас достаточно ясно представляем себе ее общие контуры и располагаем довольно большим количеством текстовых параллелей и аналогий.

- Мицкевич в стихах Лермонтова
  - 1
  - 2
  - 3
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72

Мицкевич в стихах Лермонтова

1

Тема «Лермонтов и Мицкевич» занимает исследователей уже на протяжении столетия. Мы сейчас достаточно ясно представляем себе ее общие контуры и располагаем довольно большим количеством текстовых параллелей и аналогий. Об известных соприкосновениях с «Гражиной», «Конрадом Валленродом» можно говорить при исследовании поэм 1830–1832 годов — «Последнего сына вольности», «Измаил-Бея», «Литвинки». Несомненно, однако, что первоначальное знакомство Лермонтова с поэзией главы польской романтической литературы началось ранее; во всяком случае, в 1829 году, в период активного чтения «Московского вестника», Лермонтову должен был попасться на глаза по крайней мере опубликованный там прозаический перевод «Валленрода», сделанный Шевыревым и А. Скальковским, — а затем и отрывок из поэмы, переведенный Пушкиным. Вряд ли он мог пройти без внимания и «Крымские сонеты», о которых из номера в номер упоминала периодическая печать; наконец, в «Подснежнике» на 1829 год, откуда попала к нему поэтическая строка, перефразированная в «Романсе» («Коварной жизнью недовольный», 1829), он мог прочитать знаменитый перевод «Фариса», сделанный В. Н. Щастным, и балладу «Альпугара» из того же «Конрада Валленрода» в переложении Ю. Познанского. Это все, о чем мы можем говорить с большей или меньшей уверенностью.

Далее начинаются гипотезы с привлечением косвенных данных — гипотезы, необходимые и неизбежные при построении литературной биографии раннего Лермонтова. И здесь внимание исследователей неизбежно задерживается на его литературной среде, в которой фигуре Мицкевича принадлежала важная роль. Уже Э. Дюшен обращал на это обстоятельство особое внимание; позднее, в работах Б. М. Эйхенбаума и др., была показана связь юного Лермонтова с литературно-эстетической позицией «Московского вестника» и кружка любомудров, к которому — в ранний период его существования — принадлежал и прямой учитель Лермонтова С. Е. Раич. Как известно, любомудры были ревностными ценителями Мицкевича; почти все они были знакомы с польским поэтом и испытали воздействие его личности; Раич также неоднократно встречался с ним на протяжении 1826–1829 годов.

Возникают, таким образом, предпосылки для нового обращения к теме «Мицкевич и ранний Лермонтов»[1], но здесь недостаточно простого сопоставления текстов. Для

формирующегося русского романтического сознания самый образ гениального поэта-изгнанника становится мифологемой, подобной «мифологеме Веневитинова», и его легендарная биография составила содержание нескольких литературных произведений. Достаточно двух примеров, чтобы показать, как шел этот процесс.

Один пример — пушкинское стихотворение «В прохладе сладостной фонтанов» (октябрь — начало ноября 1828 года). Блестящий анализ этого стихотворения был дан Н. В. Измайловым, с полной убедительностью раскрывшим адресата[2]. Ориентальный колорит стихотворения долгое время дезориентировал комментаторов, направляя их по ложному пути: в восточных одеждах искали восточного поэта, в то время как парадоксальная острота пушкинской художественной мысли заключалась именно в концепции образа: европейский романтический поэт перевоплощается в первого среди «сынов Саади», оставив их за собой. Это была «мифологема», но не биографического, а литературно-эстетического свойства, опиравшаяся на «Крымские сонеты» и, возможно, отчасти на цикл «арабских» стихов, включая только что написанного «Фариса». Биографический мотив, однако, вплетается в стихотворение, образовав в нем лирическую тему «далекой родины».

Второе произведение, принадлежащее Кн. З. Волконской и написанное в том же 1828 году, содержало уже прямую концепцию личности. Это — известный «Портрет», опубликованный двумя годами позднее в русском переводе[3]. «Кто сей смертный, коего чело, кажется, увенчано горестным воспоминанием, даже среди шума веселий! Ужели он одинок на земле? Нет! Взоры друзей устремлены на него и останавливаются на нем, как бы он был средоточием их мыслей. Или жизнь ему надоела?.. В глазах его выражается грусть, в улыбке насмешка. — Может быть, подобно Байрону, и он преследуем злобою и завистью? Может быть, струны сердца его оборваны, и, подобно разбитой лире, оно уже не издает никаких звуков? Или, как тяжкая цепь на рабах, совесть не отягощает ли его мыслей? Но нет: душа его свободна, чиста: он может без укора смотреть на добродетель; благородный поступок, великодушие; все, что истинно, все, что прекрасно, пленяет, восхищает его. Внимает ли он трогательной, но величественной гармонии: он исполняется святой радости, — святой, ибо она меланхолическая. Тогда покой нисходит на его взволнованную душу, тогда гений его упоен божественными звуками, тогда он сам — весь гармония. — Но произнесли одно слово, и радость его исчезла: глаза его неподвижно остановились на том предмете, который они

созерцали; багровая краска вспыхнула на его ланитах <…>. Кто-то назвал при нем страну чуждую <…> чуждую для нас, священную для него <…>.Там его мать отирала первые слезы; там сердце его впервые любило; там предания лелеяли его гений; там думы и отечество создали в нем поэта! <…> Литовский ветр ударил в струны этой Эоловой арфы! Тогда певец лесов запевает песнь лесов; он открывает свою душу, он развивает свою думу; он обращается равно ко всем; во всех он видит только братьев. Выражения его сжаты, но исполнены страсти и силы. Его отечество с жадностью внимает сим отдаленным звукам; оно собирает его поэтические вдохновения и гордится сим народным гением, ибо оно всегда и везде озаряет и воспламеняет его».

Легко заметить в этом описании те же принципы стилизации образа, которым следует и ранний Лермонтов в своих характерологических портретах, — и даже выделить совпадающие словесные формулы. Контраст тайной грусти и внешнего веселья намечен уже в романсе «К друзьям» (1829): «Но нередко средь веселья дух мой страждет и грустит»; он определяет поведение Арбенина в «Странном человеке», — как и «насмешливая улыбка»; все это повторится потом в портретных описаниях Печорина в «Герое нашего времени»: «злоба и зависть» — почти фразеологическое сращение (ср. в «Тучах»: «зависть ли тайная, злоба ль открытая?»). Это не близость образца и копии, но родство исходных принципов «байронического» портрета. Портрет этот в целом не тождествен лермонтовским. З. Волконская отнюдь не была «байронистом» и лишь учитывала байроническую ориентацию Мицкевича. Свою концепцию его личности она проецировала на тип элегического героя-изгнанника, обрисовавшегося в «Путешествии Чайльд-Гарольда», в пушкинской элегии «Погасло дневное светило» и в собственных стихах и поэмах Мицкевича, — более всего в «Конраде Валленроде». С другой стороны, она ориентировалась на тип вдохновенного поэта, созданного теорией и литературной практикой любомудров, — всеобъемлющего гармонического органа божества, выразителя национального духа. Концепция возникает на скрещении двух этих тенденций — и решительно противоречит френетическому типу «злодея-героя», к которому будут тяготеть персонажи ранней лирики Лермонтова. Вместе с тем «изгнанничество» оказывается доминантой образа, — и это сближает его с лермонтовским лирическим героем 1830–1831 годов.

Итак, в конце 1820-х годов возникают по крайней мере две литературные интерпретации личности и поэзии Мицкевича. Число их затем станет увеличиваться, — достаточно напомнить

знаменитый набросок Пушкина «Он между нами жил…» с двумя контрастно сопоставленными концепциями: «мирного гостя», вдохновенного свыше (характерно, что тема «изгнания», намеченная в ранних черновых набросках[4], устраняется из поздней редакции, — Пушкину нужна иная трактовка личности), и «злобного поэта». Но такая концепция могла возникнуть только позднее — уже после того, как между Мицкевичем и его «русскими друзьями» пролег рубеж 1830–1831 годов.

В это время четырнадцати-пятнадцатилетний Лермонтов учится в Московском университетском благородном пансионе и впервые сталкивается с московской литературной средой. В его стихах 1828–1829 годов слышатся отзвуки литературных проблем, занимавших любомудров, и — что для нас еще важнее — замечаются следы знакомства с литературным бытом столицы. Нам предстоит присмотреться именно к этим его стихам, и прежде всего к «Романсу» («Коварной жизнью недовольный», 1829), в котором Б. М. Эйхенбаум еще в 1936 году совершенно справедливо заподозрил отклик на реальные события, имевшие место в кружке любомудров.

2

Среди стихов раннего Лермонтова, чаще всего интимно-лирических и имеющих литературное происхождение, «Романс» («Коварной жизнью недовольный…») выделяется конкретностью реалий. В нем идет речь об «изгнаннике самовольном», покидающем Москву для «Италии златой» и прощающемся с друзьями, мирными досугами за бокалом вина, «московскими девами» и в особенности с одной из них, к которой он обращает прощальную речь, уверяя ее в своей вечной привязанности. Отъезд героя, добровольный внешне, вынужден внутренними причинами: его преследует «коварная жизнь» с ее «низкой клеветой». В стихотворении, таким образом, сплелись какие-то реальные факты с характерно элегическими мотивами или, скорее, первые были обобщены и расширены до последних.

«Романс» был прокомментирован впервые в 1936 году в собрании сочинений Лермонтова под редакцией Б. М. Эйхенбаума; редактор принял и обосновал высказанную устно догадку И. Л. Андроникова, что в стихотворении речь идет об отъезде в Италию С. П. Шевырева — поэта, эстетика, критика, одного из главных участников хорошо знакомого Лермонтову «Московского вестника». Его экспозицию («Коварной жизнью недовольный, / Обманут низкой клеветой, / Летел изгнанник самовольный / В страну Италии златой») комментатор связал с полемикой, начатой Шевыревым против Булгарина в 1828 году. «В ответ на его (Шевырева. — *В.В.*) резкий отзыв о „Северной пчеле“ на него напал Булгарин, имевший тогда большое влияние. Это нападение вызвало некоторую панику и раскол внутри редакции „Московского вестника“: перепуганный Погодин считал выступление Шевырева ошибкой, и его положение в редакции пошатнулось. В связи с этим друзья Шевырева посоветовали ему воспользоваться предложением Кн. З. А. Волконской и ехать с нею в Рим в качестве воспитателя ее сына»[5]. Такая исходная ситуация подготавливает последующий монолог «изгнанника», с упоминанием возлюбленной. Здесь Б. М. Эйхенбаум обращает внимание на письмо к Шевыреву В. П. Титова, намекавшего на какую-то его петербургскую привязанность: «…твою приятельницу т-11е N. etc., — писал Титов, — я уверял, что ты не мог забыть Питера и желаешь ехать в чужие края, чтобы иметь случай хоть мимоходом видеть ее еще раз»[6]. Исследователь предполагал, что этой приятельницей могла быть А. И. Лаваль, адресат стихотворения Шевырева «Партизанке классицизма» (1829).

Версия о Шевыреве как адресате «Романса» в дальнейшем не оспаривалась и была принята лермонтоводами, в том числе и автором этих строк[7]. Между тем она вызывает целый ряд вопросов и сомнении.

Прежде всего история отъезда Шевырева рассказана Б. М. Эйхенбаумом не совсем точно. Реально дело обстояло следующим образом. Шевырев начал полемику с Булгариным в «Обозрении русской словесности за 1827 год», напечатанном в первой январской книжке «Московского вестника» за 1828 год. Статья появилась в тот момент, когда М. П. Погодин, редактор журнала, находился в Петербурге и устанавливал с Булгариным литературные и личные контакты. «Я был угощаем в Петербурге Булгариным, который дал особый обед, — Пушкин, Мицкевич, Орловский пировали здесь вместе, — вспоминал Погодин, — и не успел я уехать из Петербурга, как пришла туда первая книжка с громогласным разбором нравственно-описательных сочинений Булгарина. Он взбесился, называл меня изменником, и началась пальба. Правду сказать, что он имел некоторое право сетовать на отсутствие всякой пощады со стороны Шевырева, который воспользовался моим отсутствием и грянул»[8]. Булгарин отвечал антикритикой, где апеллировал публично к авторитету Погодина[9]. Положение последнего стало щекотливым; 30 января 1828 года он записывает в дневнике: «Булгарин написал преглупую статью на Шевырева. Ну взбесится теперь мой Шевырев. Уже и Веневитинов кричит. Много мне труда предстоит»[10]. Тем не менее он напечатал сдержанный ответ Булгарину, где в основном солидаризировался со статьей Шевырева («Шевырев защищен благородно, я опять в стороне, без нарушения приличий», — записал он в дневнике). Погодина упрекали в «слабости», недостаточной решительности; он действительно избегал обострения полемики и стремился сдержать полемический пыл Шевырева («зачем баловать мальчика, который кусает себе ногти»), — однако, несмотря на разногласия, иной раз очень резкие, их отношения оставались дружескими. О «пошатнувшемся» положении Шевырева в редакции «Московского вестника» говорить, конечно, не приходилось; более того, Шевырев боялся, что на него упадет вся тяжесть журнальной работы, и сентября 1828 года он писал Погодину из Петербурга: «Жуковский говорит мне, что Круг здесь воет о тебе: давайте мне Погодина. След., есть надежда, и верная, что ты по приезде государя переедешь в Питер. Так у меня одного на плечах останется „Москов.<ский> Вест.<ник>“, ибо здесь сотрудники решительно неверные. Это узнал я по опыту. Нет, друг мой! если ты сколько-нибудь меня любишь, если сколько-

нибудь ценишь Шевырева как литератора, то пощадишь мое время и скажешь мне: „не берись за это дело. Тебе не то назначено. Учись, приготовляй, собирай“. — Это голос души моей: его я слышал от Жуковского, от Пушкина, от Титова. Этот же голос надеюсь от тебя услышать, если ты друг мне. Душа просит других занятий — и все ей отвечает: да»[11]. Итак, уже в сентябре 1828 года Шевырев готов оставить журналистику во имя ученых занятий и ищет поддержки у Погодина, — и причиной тому вовсе не были неудачи на полемическом поприще, ни тем более разногласия в редакции «Вестника». Когда в начале 1829 года княгиня З. А. Волконская решила отправиться в Италию и пригласила с собой Шевырева в качестве воспитателя своего сына, и самим Шевыревым, и его ближайшими друзьями это было воспринято как осуществление его давнишних мечтаний. Погодин писал ему: «Как мне жаль, как мне жаль тебя; но с богом! Да хранит тебя небо, и да возвратишься ты к нам еще сильнее, свежее, веселее. Иди твердо по своей дороге, но теряй никогда из виду своего назначения, работай и не шали много: вот тебе мое дружеское наставление»[12]. Все эти данные показывают с совершенной очевидностью, что отъезд Шевырева вовсе не воспринимался как «изгнание», хотя бы и добровольное. К началу его путешествия — февралю 1829 года полемики годичной давности уже потеряли актуальность, — и нет решительно никаких указаний на то, что кто-либо, хотя бы и ошибочно, выставлял их в качестве причины заграничной поездки Шевырева. С другой стороны, в многочисленных прощальных посланиях, адресованных З. А. Волконской, мотив изгнанничества отсутствует; обетованная Италия рисуется в них как страна «искусств и просвещения». И. В. Киреевский писал о «необходимости Италии» для художественной натуры («О русских писательницах», 1833); Н. Ф. Павлов — об «отчизне сладкой лиры», куда адресат его послания «воскреснуть силами спешит», чтобы подобно соловью «запеть» под южным солнцем[13]. В послании Баратынского З. А. Волконской все эти мотивы сложились в последовательную концепцию: «кумир» Москвы уезжает «в лучший край и лучший мир», оставляя осиротевших друзей и страну «зимы». «Зима» здесь символична: она означает не только климат, но и общество, «ледяной свет», как потом скажет Лермонтов:

Из царства виста и зимы,
Где под управой их двоякой
И атмосферу, и умы
Сжимает холод одинакой,

Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон,
Одушевленный, сладострастный…[14]

В этой связи особенно любопытно послание Шевырева. У него нет противопоставления «севера и юга», «зимы и лета» и, соответственно, Москвы и Рима; напротив: переезд в Рим «лучшего перла» московской «короны», «лучшего цвета» московских садов есть символ единения двух центров — западной и восточной культуры:

К Риму древнему взывает
Златоглавая Москва
И любовью окрыляет
Хладом сжатые слова.

Древней славой град шумящий,
Приими привет Москвы,
Юной славою гремящий
В золотых устах молвы.

У тебя светило наше
Льет роскошный теплый свет,
У тебя и небо краше —
Так возьми ж к себе мой цвет.

Сам любуйся на созданье
Наших северных степей,
Но его благоуханье
В сень родную перелей[15].

В этих строках ощущаются контуры будущих славянофильских концепций «Запада» и «Востока», в их специфически «шевыревском» варианте; вместе с тем они лишний раз показывают, что Шевырев не ощущал свое заграничное путешествие как изгнание и разрыв с Москвой, хоти бы временный; хорошо известно, что его отрицание западной цивилизации никогда не распространялось на Рим и что интерес к римской и итальянской истории и культуре у него крепнет на протяжении 1830-х годов, как раз тогда, когда в его дневниках появляются первые элементы славянофильской доктрины.

Но если так, то нам придется отвести Шевырева как первого кандидата на роль адресата лермонтовского «Романса». В конце 1828 — начале 1829 года он не находится в положении преследуемого («Коварной жизнью недовольный, / Обманут низкой клеветой»); его отъезд в Италию воспринимается не как изгнание, а как приобщение к центрам европейской цивилизации и для него самого связан с большими ожиданиями, — и потому обращение к возлюбленной («Душа души моей! тебя ли / Изгладят в памяти моей: страна далекая, печали, / Язык презрительных людей») в общем контексте ситуации выглядит в его устах несколько неожиданно.

Добавим к этому хронологическую справку. Шевырев уезжал не из Москвы, а из Петербурга (вспомним, что в письмах, к нему обращенных, также идет речь о петербургской привязанности, а герой стихотворения как будто обращается к «московским девам» и к московской возлюбленной). В Петербург он приехал 16 февраля, а выехал за границу 28 февраля 1829 года[16]. «Романс» же написан самое раннее через два месяца. Дело в том, что в первой его строке есть реминисценция из «Надежды» А. И. Подолинского («Бесплодной жизнью недовольный…»), появившейся впервые в альманахе «Подснежник»[17]. Альманах этот вышел в свет 4 апреля 1829 года; рассылку экземпляров начали несколькими днями позднее[18]. В Москве он появился, таким образом, не ранее середины месяца, что является и terminus post quem лермонтовскому стихотворению.

В «Подснежнике» Лермонтов мог увидеть стихи Баратынского к З. А. Волконской и Шевырева — к Лаваль, но из этих стихов он не мог почерпнуть оснований для своей поэтической концепции. Он мог слышать об отъезде Шевырева и от общих знакомых, например Раича, — но и они вряд ли интерпретировали его как «изгнание».

Между тем и «Подснежник», и московские разговоры, в том числе и, несомненно, разговоры в ближайших к Лермонтову литературных кругах, подсказывали ему имя прямого изгнанника, уезжавшего из Москвы как раз в апреле 1829 года. Этим человеком был Адам Мицкевич.

3

В начале настоящего этюда нам уже пришлось упоминать о возможных, более того, вероятных источниках знакомства Лермонтова с поэзией Мицкевича в 1828–1829 годах[19]. Однако в «Романсе» речь идет не о литературе, а о личности. Здесь были возможны только устные источники информации: ни одно из произведений, дающих ту или иную концепцию личности польского поэта, к 1829 году опубликовано не было.

В 1826–1827 годах ближайшее московское окружение Мицкевича составляли Вяземский, Пушкин, Н. Полевой, Баратынский и любомудры. Среди последних был в то время и будущий учитель Лермонтова С. Е. Раич. 24 октября 1826 года Погодин делает в дневнике запись об обеде, на котором присутствовали Мицкевич, Пушкин, Баратынский, Шевырев, Веневитинов, Раич, Киреевский и другие; пили за здоровье

Мицкевича, затем Пушкина. Это был памятный в летописях русской литературы обед по случаю организации «Московского вестника»[20]; Мицкевич присутствовал при рождении журнала, который Лермонтов будет предпочитать всем остальным, 1 февраля 1828 года Погодин вновь заносит в дневник: «Завтракали очень весело человек двадцать: Мицкевич, Вяземский, Хомяков, Веневитинов <(А.В.)>,Раич, Полевые, Томашевский и пр.»[21].

Раич мог встречаться с Мицкевичем и за пределами кружка любомудров: у него были достаточно обширные литературные знакомства в Москве. Напомним, что он пользовался литературным покровительством П. П. Дмитриева и отчасти Вяземского и до середины 1820-х годов был довольно тесно связан с Полевым, с которым собирался одно время издавать журнал. Все это — знакомые, а иногда и очень близкие знакомые Мицкевича, как Вяземский и Полевой. Наконец, он виделся с Мицкевичем в московских литературных салонах.

Это обстоятельство существенно. Конечно, представление о личности Мицкевича формировалось в профессиональных литературных кругах, — однако романтизированный, концептуальный «Портрет» вышел именно из салона Волконской, — ив этом была своя закономерность. Мы могли уже заметить, что герой лермонтовского «Романса» предстает читателю не литературной, но личной своей ипостасью, не в профессиональном, но в биографическом качестве — так, как воспринимали его посетители и посетительницы кружка или салона. Другими словами, этот облик ближе к тому Мицкевичу, который появляется в «Портрете» Волконской, нежели к

ориентальному певцу стихотворения Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов». В салоне Волконской Мицкевич появляется уже в начале 1827 года; по сведениям Вл. Мицкевича, его ввел туда Вяземский; он же представил его и хозяйке другого московского салона, А. П. Елагиной. Письма Ф. Малевского дают нам хронологию этих посещений: 27 января 1827 года он пишет о полученном приглашении и подробно рассказывает о театральном и музыкальном вечере. С этого времени польские литераторы становятся почти домашними людьми в доме Волконских; так воспринимали их и завсегдатаи салона, например А. Н. Муравьев. В числе обычных гостей Муравьев назвал и своего воспитателя С. Е. Раича[22].

Раич был одним из звеньев — конечно, не единственным, — которые связывали Лермонтова с этим литературно-артистическим кружком, — и нет ничего удивительного, что в стихах Лермонтова 1830 года проскальзывают следы знакомства с его внутренним бытом. Дальним отзвуком такого знакомства является его интерес к личности Веневитинова. Он располагал, конечно, прежде всего печатными источниками: сразу после смерти Веневитинова в печати начинают появляться его стихи и сведения о нем, которые потом составили основу биографического мифа об идеальном романтическом поэте. В 1827 году «Московский вестник» печатает элегию «Поэт и друг» с примечанием: «Горькими слезами омочили мы сие стихотворение. Незабвенный друг наш чудесным образом предрек свою судьбу…» Именно это стихотворение отразилось реминисценцией в лермонтовской «Эпитафии» («Простосердечный сын свободы», 1830), причем строка «Он верил темным предсказаньям…», скорее всего, была навеяна журнальным примечанием. Когда в 1829 году вышло собрание стихов Веневитинова, Лермонтов, уже несомненно, имел общее представление о той концепции личности Веневитинова, которая первоначально сложилась в устном предании, — и об этом косвенно свидетельствует то обстоятельство, что в его поэтическую память западают строки из «Завещания» — второго поэтического основания биографической мифологемы. «Эпитафию» 1830 года считают иногда посвященной памяти Веневитинова; может быть, точнее видеть в ней автоэпитафию[23]. Однако даже и в последнем случае дело не меняется в существе: Лермонтов лишь строит свое лирическое «я» по веневитиновской модели. Он производит совершенно точный и целенаправленный отбор стихов, который был бы вряд ли возможен, если бы ему не была известна драматическая неразделенная любовь Веневитинова к Зинаиде Волконской — центральный стержень

биографической концепции, придающий символический смысл мотиву перстня-талисмана (ср. «Он верил темным предсказаньям, / И талисманам, и любви»). Обо всем этом невозможно было узнать из существующих публикаций, — но об этом говорили в Москве. 6 апреля Погодин записывал в своем дневнике: «Завтраку меня. Представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, <(А.)> Веневитинов… Говорили о Дмитрии Веневитинове, о страсти его к княгине Волконской. Она искала в нем свежего юношу… Он боялся прикоснуться к божественному идеалу. Она мелка»[24].

Но если Лермонтов хотя бы в общих чертах имел представление о жизни салона Волконской, он не мог миновать в нем фигуры Мицкевича, подобно Веневитинову, но еще при жизни окруженному ореолом биографической легенды. Она создавалась спонтанно как легенда о поэте-изгнаннике. Она шла не только из круга Волконской, породившего «Портрет», — но и из других кружков и салонов, в которых бывал Мицкевич: например, из салона А. Елагиной — другого неофициального московского культурного центра. Рекомендуя Мицкевича попечениям Жуковского, Елагина писала о «гидре воспоминаний», терзающей «растерзанное сердце» поэта — основанием концепции становились собственные стихи Мицкевича («Resygnacija»)[25]. Юная М. В. Киреевская записывала в дневник 19 февраля 1828 года: «…У нас были Мицкевич и Матюшкин. <.. > Мицкевич много говорил о Польше, как это должно быть ему тяжело, бедный изгнанный»[26].

И наконец, еще один салон, из которого могли дойти к Лермонтову известия о Мицкевиче, — салон Пашковых. Это не литературный круг, — это один из бытовых центров культурной Москвы, в котором бывали, однако, Пушкин, Жуковский, А. Тургенев, А. Булгаков, юноша Огарев. Здесь вызревала втайне поэзия Е. П. Сушковой — будущей гр. Е. П. Ростопчиной, учителем которой, кстати сказать, был все тот же Раич, по свидетельству ее брата, развивший в ней любовь к поэзии[27]. Лермонтов войдет в близкое соприкосновение с представителями этой семьи несколько позднее; однако семейные связи восходят еще ко времени их пензенского пребывания: известен рассказ о столкновении

А. В. Сушкова с одним из Столыпиных — столкновении, кажется, окончившемся дуэлью[28]. Воспоминания самой Ростопчиной о времени знакомства с Лермонтовым неотчетливы; она упоминала, что видела будущего поэта два раза на детских балах, где она «прыгала и скакала, как настоящая девочка», какою

и была, в то время как он, в то время ученик Благородного пансиона, старался вскружить голову ее кокетливой кузине — Е. А. Сушковой[29]. Здесь обычное для мемуаров смещение хронологии: в 1830 году, к которому относится юношеский роман Лермонтова, девятнадцатилетняя Додо Сушкова, конечно, не могла резвиться, «как девочка», на детских балах, — и, стало быть, первые встречи нужно отнести к 1828, если не к 1827 году, когда Лермонтов с бабушкой переехал в Москву. Уже в 1831 году Лермонтов адресует Додо мадригальное послание, где обнаруживает не вполне обычную осведомленность в ее литературных занятиях: так, он знает о ее «Талисмане», напечатанном под анаграммой и тщательно скрывавшемся от родных, считавших поэтическую деятельность предосудительной для молодой девушки. Дело объясняется просто — неосознаваемыми, не фиксируемыми специально семейными знакомствами. Е. А. Ладыженская, сестра Е. А. Сушковой, писала о них: «Мы обе были знакомы с ним по Москве, он был сверстник и сотоварищ (по бывшему Моск. Благ. Унив. Пансиону) наших двоюродных братьев Сер. и Дм. Петровичей Сушковых, такой же неоперившийся юноша, как с десяток подрастающих или выросших мальчиков на глазах и на попечении Беклешовых»[30]. «Я знал Лермонтова долго и хорошо, — подтверждал сам С. Сушков, — познакомились мы еще в отроческом возрасте на скамьях московского благородного университетского пансиона в 1828 году, где он был на два года старше меня по классу и летами…»[31] Лаконизм и скудость этих свидетельств есть показатель не разобщенности, а, напротив, — особой плотности бытовой и литературной среды, в особенности в Москве, где связи родства и знакомства по традиции сохранялись и поддерживались и не нуждались поэтому в специальных разъяснениях. Тем большее значение приобретает для нас мемуарное письмо Е. П. Ростопчиной от 17 марта 1852 года, где она рассказывала о первом визите Мицкевича и Малевского в дом

Пашковых «более двадцати лет назад». Ростопчина вспоминала, как Павел Муханов привел к ним двух незнакомцев, «двух прекрасных юношей, двух странников, двух чужеземцев»; один из них, сразу обративший на себя внимание девочки, был «брюнет, с бледным лицом, с роскошной черной шевелюрой, вдохновенным взором, задумчивым выражением лица»; «на всем его облике было написано предсказание великого будущего, судьбы славной и исключительной». Муханов представил его как одного из самых великих поэтов века. Это был Мицкевич[32].

В этом письме, как и в воспоминаниях Ростопчиной о Лермонтове, есть легкие и однотипные хронологические

смещения. Если Муханов представил Мицкевича как автора «Валленрода», значит, визит состоялся не ранее 1828 года, — но тогда он не мог, конечно, посадить к себе на колени «крошку» («petite»), внучку Пашковых, которой было в ту пору около семнадцати лет. Остается думать, что визит этот произошел ранее, может быть, сразу после сближения Мицкевича с братьями Полевыми, с которыми сотрудничали братья Мухановы; детали могли выпасть из памяти Ростопчиной и контаминироваться с более поздними представлениями о Мицкевиче, наложившими сильный отпечаток на ее воспоминания. При всех обстоятельствах нам важно, что Мицкевич бывает у Пашковых как раз во время пансионского обучения Лермонтова и что и здесь он воспринимается младшим поколением как великий поэт, изгнанник (pèlerin), «странник» с романтической судьбой. Конечно, речь Муханова передана по памяти и приблизительно, — однако и в этом виде она почти совпадает с тем, что писал о Мицкевиче «Московский телеграф»: «Когда умолк Гете, когда нет Байрона, Мицкевич — будем гордиться этим — не только первый поэт Польши, но едва ли не первый из существующих ныне поэтов. „Валленрод“, „Праотцы“, „Сонеты“, „Фарис“ суть создания творческого воображения, которым ни один из существующих ныне поэтов Англии, Германии, Франции и Италии ничего противопоставить не может»[33].

Мы можем прервать на этом обзор материалов о Мицкевиче в московских салонах. Он дает нам основания для исходного тезиса: известия о польском поэте могли проникать к Лермонтову не только из печати — и даже не в первую очередь из печати, а из устных источников, причем по самым разнообразным каналам, а не только через литературных информаторов типа Раича. При этом существенно, что вокруг Мицкевича уже складывалась изустная легенда, — и ядром ее было представление о великом поэте-изгнаннике. Оно опиралось, конечно, на реальную судьбу польского поэта, — но реальные судьбы не обязательно адекватны биографической мифологеме, — в данном случае мы можем говорить о последней. Она поддерживалась и самим Мицкевичем: в его письмах и разговорах второй половины 1820-х годов скитальчество, изгнанничество проходит как одна из центральных автобиографических тем. В знаменитой прощальной импровизации в Москве в 1828 году он сравнивал себя с нищим странником, погибающим на чужбине и сохраняющим при себе единственную драгоценность — подаренный ему друзьями кубок. Нелишним будет заметить, что лирический мотив «странника», «изгнанника» — один из важнейших как в раннем, так и в позднем лермонтовском творчестве.

Все это вполне соответствует той художественной идее, которая лежит в основе лирической биографии героя лермонтовского «Романса».

Теперь нам предстоит вновь обратиться к его тексту и проверить, соответствуют ли конкретные реалии реалиям биографии Мицкевича, известным в московском обществе.

Строка «Коварной жизнью недовольный, / Обманут низкой клеветой» может иметь как общий, так и более конкретный смысл.

Выход в свет «Крымских сонетов» и «Конрада Валленрода» вызвал резкую реакцию в литературных и политических кругах. Вряд ли Лермонтов знал в 1829 году о той «ужасной классической грозе», которая поднялась в Варшаве против романтической школы, о чем упоминал Вяземский в письме к жене в конце марта 1828 года[34] и ответом на которую была статья Мицкевича «О критиках и рецензентах варшавских». Правда, статья эта была в 1829 году напечатана в «Московском телеграфе» как предисловие к собранию стихотворений Мицкевича, и следы полемики отразились в русской печати, — но было бы рискованно предполагать, что пансионер Лермонтов внимательно следил за этими спорами и расценивал их как инсинуации «классиков» против вождя польского романтического движения[35]. Зато трудно представить себе, что он не был осведомлен, хотя бы в самых общих чертах, о политических причинах «изгнанничества» Мицкевича. В 1827 году, рекомендуя Жуковскому Мицкевича и Малевского, Вяземский упоминал, что они «жертвы чванства и подлости Новосильцева»[36], в апреле же 1828 года, после выхода «Валленрода» и краткого апологетического объявления о нем «Северной пчелы», Новосильцев составил обширный рапорт, где, исходя из содержания поэмы, обвинил ее автора в тайных противоправительственных замыслах[37]. Политическое дело велось секретно, но отзвуки его слышались в обществе. Мицкевич позднее рассказывал Реттелю, что донос Новосильцева был направлен Николаю I, находившемуся в армии Дибича за Дунаем, и пришел как раз в то время, когда Николай был в хорошем настроении из-за успехов русских войск. Он не придал особенного значения делу и отослал бумаги обратно в Петербург с повелением назначить комиссию для расследования. «Для этой комиссии, состоявшей из трех человек, кроме Жуковского, искреннего поклонника Мицкевича, был избран еще один, хотя и литератор, но давний приятель Мицкевича, и третий, человек недалекий и привыкший полагаться на авторитет коллег. Нет поэтому ничего удивительного, что составленный рапорт был весьма благоприятен для Мицкевича <…>. В это время Николай

не хотел или не мог ближе заниматься этим делом, главным образом потому, что отношения между Варшавой и Петербургом, т. е. между ним и великим князем, были довольно напряженными. Добрым расположением царя не замедлили воспользоваться, и некоторые влиятельные особы стали хлопотать о разрешении Мицкевичу выехать за границу…»[38]

Вероятно, не случайно Вяземский в письме к жене в начале мая 1828 года упоминает о преследованиях Мицкевича. «…Когда подумаешь, что этот человек гоним и что пьяный Новосильцев и подлый Байков могут играть его судьбою! В хорошее время живем мы, нечего сказать!»[39] Уже позднее, в феврале 1829 года, перед самым отъездом, Мицкевич пишет Жуковскому ответ на его запросы, вкратце рассказывает о своей изгнаннической «Одиссее» и намекает на «Илиаду», с «неистовствами» «литовского Ахиллеса» — Новосильцева, «причинившего столько зла школьникам»[40].

Нам важно отметить во всех этих устных версиях мотив, который появится затем в лермонтовском стихотворении, — «несправедливое преследование», «наветы» «низкой клеветы» — очень существенный дополнительный штрих, довершающий портрет «изгнанника».

В это самое время, как будто демонстративно, московское общество устраивает Мицкевичу прощальный обед по поводу его отъезда из Москвы в Петербург. «Когда он уезжал из Москвы, — писал Малиновский Лелевелю 25 апреля (7 мая) 1828 года, — тамошние литераторы устроили великолепный пир, подарили ему серебряный кубок, на котором вырезаны имена участников банкета и поклонников Адама». Имена эти известны: Е. Баратынский, П. и И. Киреевские, А. Елагин, Н. Рожалин, Н. Полевой, С. Шевырев, С. Соболевский. «Декламировали стихи, написанные по этому случаю, — продолжает Малиновский, — пели песенки. Поэта провожали со слезами. Он отвечал им импровизацией, которая вызвала такой энтузиазм, что поэт Баратынский, упав на колени, воскликнул: „Ah mon Dieu, pourquoi n'est-il pas Russe!“ <Ах, боже мой, почему он не русский?>»[41] Ф. Малевский сохранил нам содержание этой импровизации. Мицкевич сравнил себя со странником, умирающим в чужом краю. Хозяин, давший ему приют, не обнаружил на трупе ничего, кроме укрытого в складках плаща кубка[42]. Этой импровизацией был доволен сам Мицкевич; много позднее Петр Киреевский писал брату, что «силу живого слова» он «видел в полном величии при провожании Мицкевича»[43]. Восклицание Баратынского, конечно, было ответом на самое содержание речи: оно также имплицировало понятие «изгнанник».

В сознании самого поэта и его друзей изгнание не оканчивалось, а продолжалось: Мицкевич уезжал не на родину, а на чужбину. Его отъезд принципиально разнился от учено-литературного путешествия Шевырева. Весь этот вечер, состоявшийся в доме Соболевского во второй половине апреля 1828 года, носил ритуально-символический характер, и импровизация Мицкевича как нельзя лучше соответствовала прощальным стихам, сочиненным И. Киреевским. Стихи сопровождали памятный кубок и содержали основной поэтический мотив: дружбы, утешающей в страданиях и скитаниях, точнее, дружеского сопричастия. Кубок — символ связи, непрекращающегося духовного общения поэта с теми, чьи имена на нем запечатлены. Они откликнутся на грусть владельца:

И известит их о твоей тоске
Печальное их сердца содроганье,
И будут на твое воспоминанье
Согласной думой вторить вдалеке.
Но если ночью, посреди молчанья,
Вдруг без причины стукнет твой стакан,
Знай — это голос нашего мечтанья:
Его тебе примчал твой талисман[44].

Он не дает только забвенья прошедшего — поэтическая концепция пушкинского «Талисмана». Именно на это отвечал Мицкевич своей символической речью: этот талисман, т. е. материализованный знак дружеской связи, — единственное, что составляет достояние скитальца, с которым он не расстанется до могилы. Так, тема изгнанничества соединилась с поэтической темой дружбы.

Именно эта связь намечается в «Романсе» Лермонтова:

Забуду ль вас, — сказал он, — други,
Тебя, о севера вино!
Забуду ль, в мирные досуги
Как веселило нас оно?

Конечно, здесь нет прямой связи с неопубликованными стихами Киреевского, — и самый монолог, со стереотипами гедонистической поэзии, далеко не отражает драматического величия момента. Но иначе и быть не могло: если Лермонтов и располагал какой-либо информацией об этом вечере (годичной давности), то, конечно, это была информация самая общая —

быть может, о том, что Мицкевич произнес прощальную импровизацию. Напомним, что вечера в честь Мицкевича в Петербурге и Москве были весьма многочисленны, равно как и его импровизации; в конце марта 1828 года Мицкевич с легкой иронией писал Одынцу, что его растущая слава нередко выходит из-за стола, за которым он ест и пьет с русскими литераторами[45]. Однако слухи о прощальном вечере, по-видимому, держались довольно долго; еще П. И. Бартенев собирал о нем устные сведения. Так, он сообщал, что Шевырев воскликнул за ужином: «Самодержавья скиптр железный перекуем в кинжал свободы»[46]. В некрологе К. Павловой (частью основанном на беседах, которые он в свое время вел с самой писательницей) Бартенев упоминал, что «когда провожали из Москвы Мицкевича, она читала ему хвалебные стихи»[47]. Но особенно интересен записанный им рассказ М. А. Максимовича: «Когда вышел „Конрад Валленрод“, в Польше появился разбор его, неблагоприятно изъяснявший это произведение. Дело как-то дошло до царя. Он спросил, что за человек Мицкевич. Ему отвечали, что он то же для Польши, что Пушкин для русских. Царь приказал дать ему полную свободу жить за границею. Мицкевич уехал из России, и сначала в Рим. Мицкевича провожали из Москвы ужином, распорядителем был Соболевский. Поэту поднесли серебряный кубок с вырезанными именами московских его друзей, при чем пелись стихи Шевырева: „Чрез Неман дай же руку!“»[48] Этот рассказ весь основан на сведениях, полученных Максимовичем из вторых рук; он представляет собой устную версию, хотя и идущую из авторитетных литературных кругов, — и по своей структуре, отбору деталей, причинно-следственным связям почти идентичен «Романсу» Лермонтова. «Разбор», о котором идет речь, — донос Новосильцева, соответствующий «низкой клевете» у Лермонтова; она является причиной «самовольного изгнания» поэта; прощание, на котором утверждается неразрывная дружеская связь его с оставшимися в Москве друзьями, кадансирует все построение. Но у Лермонтова присутствует еще один сюжетный мотив: изгнанник обещает помнить

> Снега и вихрь зимы холодной,
> Горячий взор московских дев…

Это намек на светские успехи. Об увлечениях Мицкевича говорили в Москве еще в 1827 году; слухи дошли до сестер Малевского, и приятелю Мицкевича пришлось опровергать сплетню, якобы они оба были одновременно влюблены в одну и

ту же особу. Малевский оправдывался, что это могло быть разве в шутку[49]. Однако Мицкевичу приходилось увлекаться «московскими девами» и всерьез; Кс. Полевой вспоминал, что предметом «идеальной любви» Мицкевича была жена сотрудника «Московского телеграфа» А. И. Красовского; С. Д. Полторацкий записывал, что Мицкевич был влюблен «смертельно», и Капитолина Красовская «кажется <… > умерла от этой любви, а он долго горевал»[50]. Предполагается, что это произошло весной 1828 года и что намек на эту утрату сделан в письме к Одынцу 22 марта (6 апреля)[51]. Но лермонтовский «изгнанник» упоминает о «московских девах» для того, чтобы выделить среди них одну — предмет его особой привязанности:

Душа души моей! тебя ли
Изгладят в памяти моей:
Страна далекая, печали,
Язык презрительных людей?

Здесь есть возможность усмотреть намек на роман Мицкевича с Каролиной Яниш.

Толкование последнего мотива как опирающегося на биографические реалии, вообще говоря, несколько рискованно. Трудно приписывать пятнадцатилетнему Лермонтову осведомленность в деталях интимной биографии Мицкевича и, тем более, стремление отразить ее в поэтическом тексте. Однако роман Мицкевича с Каролиной Яниш был явлением не совсем обычным; как мы постараемся показать далее, он также представлял собой некую мифологему и, сколько можно судить по косвенным данным, получил некоторый общественный резонанс.

Напомним внешнюю историю этих взаимоотношений. К. Павлова рассказывала Вл. Мицкевичу, что познакомилась с его отцом в салоне Зинаиды Волконской; до этого она вела уединенную жизнь в доме родителей и лишь по рассказам знала о московских литературных новостях. К. Д. Кавелин, заставший поэтессу в сравнительно поздние годы, писал, что в юности она общалась с любомудрами и Елагиной[52]; сама она рассказывала, что инициатива приглашения исходила от княгини. По-видимому, все так и было: в опубликованном недавно дневнике М. В. Киреевской есть упоминания о посещениях Янишей еще в 1826 году; тогда же и в ближайшие последующие годы у Елагиных бывают Соболевский, Максимович, Норов (вероятно, Александр), Титов, Погодин, Мельгунов, Рожалин, Кошелев, Шевырев; 19 февраля 1828 года приходит Мицкевич[53]. Конечно,

это не полный перечень знакомых: нам известно, что в елагинском салоне собиралась чуть ли не вся литературная Москва. Именно поэтому можно усомниться в том, что жизнь молодой девушки в отцовском доме была столь уже «уединенной», — во всяком случае, это не относится ко второй половине 1820-х годов, когда мы видим К. Яниш в кругу любомудров-приятелей братьев Киреевских. Самое приглашение в салон Волконской («Она захотела со мной познакомиться и пригласила меня к себе», — вспоминала Павлова[54]) было уже своего рода актом признания, показателем того, что Каролина Яниш — достаточно заметная фигура в артистических и литературных кругах. Здесь происходит знакомство ее с Мицкевичем; романтически настроенная, не чуждая восторженной экзальтации, она избрала его своим кумиром и, чтобы чаще общаться с ним, просила отца пригласить его в качестве учителя польского языка. Это произошло, видимо, в 1827 году; учитель не остался равнодушен к даровитой ученице и пылкой своей поклоннице — и просил ее руки. Решительное объяснение состоялось 10 ноября 1827 года, — именно эту дату Каролина помнила в течение многих лет и спустя десятилетия отмечала ее стихотворными обращениями к Мицкевичу[55]. Брак расстроился из-за противодействия родных; 1 декабря 1827 года Мицкевич уехал из Москвы в Петербург и расстался с Яниш почти на год. За это время он успел охладеть к предмету своей недолгой привязанности, и двусмысленность отношений его тяготила; в письмах к Дашкевичу, поверенному этой любви (и, как Мицкевич узнал потом, безнадежно влюбленному в Каролину Яниш), в июле 1828 года и позднее он постоянно упоминает о «художнице» (Яниш) и крайне озабочен тем, чтобы избавить девушку от душевной травмы: в это время сам он полон решимости прекратить роман. Тем временем Каролина посылает ему почти отчаянное письмо (от 19 февраля 1821 года). «Я убедилась, что не могу жить, чтобы не думать о тебе, что все мое существование будет лишь постоянным воспоминанием. Мицкевич! Что бы ни случилось, моя душа принадлежит тебе»[56]. Это письмо делало возвращение Мицкевича в Москву настоятельной необходимостью; он приезжает в марте — не в последнюю очередь, чтобы решительно выяснить отношения. Ему удалось сгладить последствия разрыва, — трогательное и полное благодарности письмо Каролины, посланное ему уже 5 апреля, является тому живым свидетельством[57]. На следующий день он записывает в ее альбом стихи — с той же темой, которая звучит и в прощальном монологе лермонтовского «Романса»: он сравнивает себя с перелетными птицами, которые каждую весну

возвращаются на покинутый север. «Слыша их голос, вспомни изгнанника — друга: как только вслед за бурями ему забрезжит надежда, так мгновенно дух его на крылах веселья улетит вновь на полночь, вновь к тебе»[58].

Если бы Мицкевич и Яниш стремились скрыть свои взаимоотношения от посторонних глаз — все равно, ни учительство его, ни встречи с Каролиной у Волконской и, возможно, у Елагиных не могли быть тайной в московском обществе. Но они и не пытались держать их в секрете — предложение Мицкевича было сделано официально. При повышенном интересе к личной судьбе Мицкевича в московских кружках одного этого уже было бы достаточно, чтобы объяснить, каким образом отзвуки всей этой истории могли попасть в стихи Лермонтова и приобрести в них драматический колорит, — но вероятность такого предположения еще увеличится, если мы примем во внимание некоторые особенности характера и социального поведения Яниш-Павловой, прекрасно известные современникам. «Вышепоименованная дева, — писал о ней Языков братьям, — есть явление редкое, не только в Москве и России, но и под луною вообще. Она знает чрезвычайно много языков <…>, — все эти языки она беспрестанно высовывает, хвастаясь ими. Любит громогласить стихи свои, владеть разговором…»[59] Это отзыв 1832 года, с которым почти буквально совпадают и многочисленные поздние, почти всегда иронические упоминания о Павловой, «смертной охотнице» до чтения своих стихов на литературных вечерах[60]. Существуют и более ранние свидетельства, показывающие, что уже в 1828–1829 годах Яниши перестали вести ту замкнутую жизнь, о которой потом вспоминала писательница: И. В. Киреевский в письмах к Соболевскому в январе 1829 года описывал обеды у З. Волконской, на которых бывали Пушкин, Вяземский, Баратынский, Шевырев, Дмитриев, Павлов (будущий муж К. Яниш), Погодин и «Каролина», в сопровождении двух спутников (Киреевский иронически аттестует их «евнухами»); при этом она «читает каждый раз страниц по сту поэтической прозы»[61]. Уехав за границу в начале 1830 года, Киреевский вспоминал и о пятничных литературных собраниях у Янишей[62]. Это была форма личностного и социального самоутверждения — и она распространялась как на поэтическую деятельность, так и на личную, даже интимную жизнь. Когда в мае 1829 года и вторично осенью того же года Москву посетил Александр Гумбольдт, К. Яниш встретилась с ним и произвела на него весьма благоприятное впечатление; ходили, однако, слухи, что молодая поэтесса сама рассказывала о повышенном внимании к

ней европейской знаменитости. Эти разговоры вызвали позднее эпиграмму Соболевского «Дарует небо человеку…», которая распространялась также под именем

А. А. Елагина и И. В. Киреевского[63]. Кстати, другой московский слух связывал имена Яниш и самого Киреевского; глупая эпиграмма безвестного графомана, написанная по поводу мнимой влюбленности Киреевского в Яниш, была известна и адресатам, которые над ней подтрунивали[64].

Можно утверждать с полной вероятностью, что альбом Яниш с посвящением Мицкевича становится известен в это же время. В конце 1828 или начале 1829 года сюда записывает свои стихи Баратынский; в мае или июне — уже после Мицкевича — Языков; вероятно, несколькими месяцами позднее — Вяземский[65]. П. П. Панаев, знавший Яниш-Павлову уже в 1840-е годы, вспоминал, что она была известна «своим поэтическим даром и альбомом, в который написал ей что-то сам Гете»[66]. Судя по контексту его рассказа, сам он альбома не видел, но слышал о нем. Альбом становился предметом устной легенды — как и сама личность Каролины Яниш.

Роман ее с Мицкевичем включался в эту легенду о поэтической, едва ли не гениальной натуре, живущей жизнью духа и идеального чувства. При всей искренности ее чувства она не удержалась от его демонстрации. Она рассказывала о нем Дашкевичу, и самые письма ее к Мицкевичу были подсознательно стилизованы под литературные эталоны. Сведения Бартенева — к сожалению, пока не поддающиеся проверке, — что Каролина Яниш читала на проводах Мицкевича прощальные стихи, — представляют в этом смысле первостепенный психологический интерес. Мы знаем, однако, что во время отсутствия Мицкевича она переводила «Валленрода» и перевод был рассчитан на распространение и известность. В январе 1830 года И. Киреевскому сообщили в Мюнхен из Москвы, что перевод этот окончен, и Киреевский писал в Рим Шевыреву 21 февраля: «Он хотя не напечатан, но отправлен к Гете, с посвятительным сонетом, из которого знаю только начальный стих: Mir ward ein Kranz aus goldnen Secunden»[67]. В этом письме также любопытен определенный коэффициент неточности, характерный для сведений, исходящих из вторых рук: отрывки из перевода были отправлены Гете значительно раньше: о них знал Одынец уже в августе 1829 года[68], сонет был посвящен не Гете, а Гумбольдту. Нам известно и о другом переводе — уже на французский язык — он находился в доме маркизов Риччи, «переплетенный в красный сафьян», «с посвящением от восторженной поклонницы творцу поэмы»[69]. Нет сомнений, что он был передан или переслан

самой К. Яниш.

В 1840–1850-е годы она будет постоянно возвращаться к образу Мицкевича в стихах и «бесконечных рассказах». Уже восьмидесятилетней старухой, на шестьдесят лет потерявшей из виду своего избранника, она будет писать Владиславу Мицкевичу: «Передо мной его портрет, а на столе маленькая вазочка из жженой глины, подаренная мне им, на пальце я ношу кольцо, которое он мне подарил. Для меня он не перестал жить. Я люблю его сегодня, как любила в течение стольких лет разлуки. Он мой, как был им когда-то…»[70] Достаточно сравнить эмоциональный рисунок этих строк и стихов «на 10 ноября», чтобы почувствовать разницу: в стихах идет речь о «странных» «младых снах», даже о «развенчанном идоле». Есть основания думать, что автобиографическая «Дума» («Вчера листы изорванного тома…», 1843) с ее концовкой:

> Кто оживит в душе былые грезы?
> Кто снам моим отдаст их прелесть вновь?
> Кто воскресит в них лик маркиза Позы?
> Кто к призраку мне возвратит любовь?[71]

также относится к Мицкевичу, — и, быть может, выразительнее, чем другие, оттеняет легендарный характер психологической версии «вечной любви». Тем не менее она создавалась, окружаясь ореолом романтической жертвенности, и гипертрофировалась до некоего идеального эталона.

Отзвуки этой эстетизированной концепции, как нам представляется, и попадают в концовку лермонтовского «Романса». Образ возлюбленной «самовольный изгнанник» уносит на «скалы Гельвеции» и многолюдные стогны Рима.

Это пишется вскоре после того, как в московских литературных кругах и в московских журналах начинают говорить об отъезде Мицкевича за границу. В марте об этом сообщает Полевой: «Мицкевич оставляет теперь Россию и едет в Италию. Там, на развалинах Рима и гробницах бессмертных людей, ждут его новые вдохновения. Далекие соотечественники, далекие друзья, мы будем ждать новых песнопений его и надеемся, что он явит нам новые великие творения»[72]. Почти одновременно появляется подобное же известие в «Вестнике Европы». 5 апреля В. Л. Пушкин рассказывает Вяземскому о визите к нему Мицкевича и добавляет: «Он отправляется в Дрезден, а оттуда в Италию или, может статься, в Париж — смотря по обстоятельствам».

Москва прощалась с Мицкевичем, — и канун его отъезда был

едва ли не кульминационной точкой интереса к его личности. Он поддерживался, помимо всего прочего, пушкинским переводом отрывка из «Конрада Валленрода» и портретом Мицкевича, появившимся в первой части «Московского вестника» за 1829 год.

Есть все основания полагать, что «Романс» Лермонтова был откликом именно на это событие.

Если наше предположение справедливо, то юношеское стихотворение Лермонтова оказывается существенным и для истории восприятия личности и поэзии Мицкевича в русской литературе, и для исследования литературно-бытовой среды, в которой развивалось раннее творчество великого русского поэта. Однако художественная проблематика «Романса», конечно, не может быть сведена к отклику на конкретное, хотя бы и весьма значительное событие. Лермонтов описывал не отъезд Мицкевича, но «самовольное изгнание» лирического героя, ориентированное на общие контуры реальной биографии. «Романс» включался в литературную — более всего элегическую — традицию и деформировал и изменял реалии согласно ее законам, отсекая все, что им противоречило. В данном случае ему не приходилось менять эти реалии кардинально, потому что «легенда о Мицкевиче» строилась в общественно-литературном сознании почти по тем же эстетическим канонам. Она включала преследования, изгнание (в том числе добровольное), разлуку и несчастную любовь. Это была принципиальная схема новой, «байронической» элегии, представителем которой было пушкинское «Погасло дневное светило…».

Именно поэтому Лермонтов мог еще раз воспроизвести ту же лирическую биографию — уже вне всякой связи с Мицкевичем — в «Элегии» («Дробись, дробись, волна ночная…», 1830:1,120–121). Она отчасти ориентирована на пушкинских «Цыган» и содержит тот же комплекс лирических мотивов, вплоть до «добровольного изгнания». Но здесь уже нет реалий: нет «Италии», — и воспоминания о «блеске обманчивой столицы» и «невозвратимом рае» «пагубных веселий» возникают с обратным знаком, как ценностно негативное. Все это вполне соответствует элегическому канону конца 1820-х годов. В ближайшие же годы и даже месяцы в качестве реального субстрата его «стансов», «романсов» и элегий являются иные биографии — Байрона и Шенье.

Он обратится к Мицкевичу много позднее — и притом не как к личности, а как к автору «Крымских сонетов». Но это — уже особая тема.

notes

Примечания

1

См., например, новейшую работу: *Semczuk A.* Lermontow w Moskwie 1827–1830 // Slavia Orientalis. Warszawa. 1981. Rocn. XXX. № 1. S. 7. А. Семчук ссылается на не опубликованную полностью работу Ю. Борсукевича (*Borsukiewicz J.* Lermontow i literatura polska. Wroclaw, 1967); ср. также: *Borsukiewicz J.* Lermontow a Mickewicz // O wzajemnych powiazaniach literackich polsko-rosyjskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1962. S. 96–123 (с литературой вопроса).

2

Измайлов Н. В. Мицкевич в стихах Пушкина. (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов») // Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 125–173.

З

З.В. Портрет. (В альбом) // Денница: Альманах на 1830 год, изд. М. Максимовичем. М., 1830. С. 114–117. Перепечатано: Соч. княгини З. А. Волконской, урожденной княжны Белосельской. Париж; Карлсруэ, 1865. С. 27–28 (французский текст см.: CEuvres choisies de la Princesse Z. Volkonsky. Paris; Carlsruhe, 1865. P. 240–251).

Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М.; Л., 1962. С. 203, 205.

5

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч.: В 5 т. М.; Л.: Academia, 1936. Т. 1: Стихотворения 1828–1835 гг. С. 425. Предположение о Шевыреве как адресате «Романса» было высказано И. Л. Андрониковым.

Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1904. Кн. 2. С. 303.

7

См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 71, 473 (с библиографией), 621.

8

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974– Т. 2. С. 33.

9

Северная пчела. 1828. № 11. 26 января.

10

Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 168. Веневитинов — Алексей Владимирович, брат поэта.

ЛН. Т. 16–18. С. 699–700; *Барсуков Н. П.* Указ. соч. С. 179 и сл.

12

Русский архив. 1882. № 5. С. 76; ср.: *Барсуков Н. П.* Указ. соч. С. 303.

13

Ср.: *Гаррис М. А.* Зинаида Волконская и ее время. М., 1916. С. 89–93.

14

Баратынский Е. А. Полн. собр. стих. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 146. Впервые: Подснежник на 1829 год. СПб., 1829. С. 151 (под загл.: «Княгине З. А. Волконской на отъезд ее в Италию»).

15

Соч. Кн. З. А. Волконской, урожденной княжны Белосельской. С. 169–170; ср. там же и другое послание, более позднее (с. 171–175).

16

ЛН. Т. 16–18. С. 702, 705.

17

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 426.

18

Синявский Я., Цявловский М. Пушкин в печати, 1814–1837. М.; Л., 1938; ср. в нашей книге: Вацуро В. Э. Северные цветы: Альманах Пушкина-Дельвига. М., 1978. С. 169, 268.

19

Хронологический перечень переводов из Мицкевича и упоминаний о нем в русской периодической печати за 1825–1829 годы см.: Адам Мицкевич в русской печати, 1825–1855: Библиографические материалы. М.; Л., 1957.

20

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 13, 29–30.

21

Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 186.

22

Mickiewicz Wl. Zywot Adama Mickiewicza. W Poznaniu, 1890. T. 1. S. 272 et seq., 234; А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 43–44.

23

Впервые предположение о Веневитинове как адресате «Эпитафии» высказано Э. Э. Найдичем в примечаниях к изд.: *Лермонтов М. Ю.* Избранные произведения в двух томах. М.; Л., 1964. Т. 1 (1828–1834). С. 673–674. См. также: *Андроников И. Л.* Великая эстафета. М., 1975– С. 240–241. Трактовка стихотворения как автоэпитафии обосновывается Т. П. Голованової (см. ее прим. в изд.: *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч.:В 4 т. М.; Л.,1958.Т. 1. С. 629–630; 2-е изд., испр. и доп. Л., 1979-Т.1. С. 555–556).

Барсуков Н. П. Указ. соч. С. 304.

25

Письмо Жуковскому от 30 ноября 1827 года // *Fiszman S.* Z problematym pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa, 1956. S. 88.

Парилова Г. Н., Саймонов А. Д. П. В. Киреевский и собранные им песни // ЛН. Т. 79. С. 24.

Сушков С. Возражение на статью Е. С. Некрасовой о графине Е. П. Ростопчиной // Вестник Европы. 1888. № 5. С. 393, 402, 431;

Сушков Д. К биографии графини Е. П. Ростопчиной // Исторический вестник. 1881. № 6. С.301.

28

Фадеев А. М. Воспоминания: 1790–1867 гг. Одесса, 1897. Ч. 1. С. 93–94.

29

Воспоминания 1972. С. 281.

30

Сушкова Е. [Хвостова Е. А.]. Записки, 1812–1841. Л., 1928. С. 327.

Сушков С. Биографический очерк // Ростопчина Е. П. Сочинения. СПб., 1890. Т. 1. С. XXI.

Mickiewicz Wl. Op. cit. S. XLIII (подл. по-фр.).

33

Московский телеграф. 1829. Март. № 6. С. 199.

Звенья. М.; Л., 1934. Вып. 3–4. С. 216.

35

Московский телеграф. 1829. № 17. С. 3–36. Такая версия, хотя и осторожно, все же высказывалась; см., например: Bulletin du Nord. 1828. Janvier. P. 50.

Мицкевич А. Собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 615.

37

Д<убровин>Н. Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин и А. Мицкевич. (Материалы для их биографий) // Русская старина. 1903. № 11. С. 331–351; «Конрад Валленрод». (Материалы из архива Н. Н. Новосильцева). Публ. И. Г. Попруженко // Русский архив. 1908. № 1. С. 64–74.

38

Mickiewicz A. Pisma. Paryz; Lwow, 1880. T. V. S. 264. Приведено у Гомолицкого (*Gomolicky L.* Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. S. 257–258; русский перевод см.: *Реттель Л.* Александр Пушкин. Историко-литературная справка / Вступ. заметка, пер. с польского и примеч. С. Басова-Верхоянцева // Звенья. М.; Л., 1934. Вып. 3–4. С. 204–214.

39

Мицкевич А. Собр. соч. Т. 5. С. 625.

Там же. С. 416.

41

Mickiewicz Wl. Op. cit. S. 318–319; ср. в письме самого Мицкевича Одынцу от 28 апреля / 10 мая 1828 года: *Мицкевич* А. Собр. соч. Т. 5. С. 404.

Gomolicky L. Op. cit. S. 260–261.

Русские Пропилеи. М., 1915. Т. 1. С. 61.

Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 210.

Мицкевич А. Собр. соч. Т. 5. С. 397.

Русский архив. 1909. Кн. 2. С. 479.

К. К. Павлова // Русский архив. 1894. Кн. 1. С. 119.

48

П. Б<артенев>. Адам Мицкевич. (Записано со слов покойного М. А. Максимовича) // Русский архив. 1898. № 7. С. 480.

Mickiewicz Wl. Op. cit. S. 283.

Березина В. Г. Мицкевич и «Московский телеграф» // Адам Мицкевич в русской печати. С. 471–472.

Мицкевич А. Собр. соч. Т. 5. С. 395.

52

Кавелин К. Д. Собр. соч. СПб., 1899. Т. 3. С. 1119; ср.: *Б<артенев> П.* А. М. Елагина // Русский архив. 1877. Кн. 2. С. 492–493.

ЛН. Т. 79. С. 23–24.

Mickiewicz W. Op. cit. S. 270.

55

См. стихи «10 ноября 1820», «На 10 ноября»: *Павлова К.* Полное собрание стихотворений. Л., 1939. С. 6, 153.

Mickiewicz W. Op. cit. S. XL1V–XLV.

Ibid. P. XLV–XLVI.

Mickiewicz A. Dziela wszystkie. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1972. T. 1. Cz. 2: Wiersze 1825–1829. S. 89.

59

Языков Н. М. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. С. 639 (комм. К. К. Бухмейер).

См., например: *Берг Н. В.* Записки // Русская старина. 1891. № 2. С. 264.

61

Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 18.

Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. М., 1911. Т. 1. С. 50.

63

См.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 394 (примеч. И. Г. Ямпольского, со сводом литературы).

Татевский сборник. М., 1899. С. 107–109.

65

Ср. *Баратынский Е. А.* В альбом // Галатея. 1829. № 6. С. 90; *Языков Н. М.* Кар. Кар. Ян… (В альбом) // Литературная газета. 1830.30 июня; *Вяземский П. А.* В альбом Кар. Кар. Я***. («С стесненьем чувств смотрю на ваш альбом…») // Радуга, литературный и музыкальный альманах на 1830 год. М., 1830 (цензурное разрешение 10 декабря 1829 года).

Панаев И. И. Указ. соч. С. 162.

Голос Минувшего. 1914. № 7. С. 215.

68

См. письмо его Ю. Корсаку (из Веймара 20 августа 1829 года): *Мицкевич А.* Собр. соч. Т. 5. С. 635.

69

Darowski A. Kronika Rzymska // Biblioteka Warszawska. 1898. Т. 1. Вып. 3. Март. С. 463. Приведено у Гомолицкого (*Gomolicky L.* Op. cit. S. 176). О третьем переводе см.: *Измайлов Н. В.* Неизвестный перевод из Мицкевича Каролины Павловой (Яниш) // Адам Мицкевич в русской печати. С. 489–497.

Mickiewicz Wl. Op. cit. S. 273 (перевод: *Мицкевич* А. Собр. соч. Т. 5. С. 696).

Павлова К. Полн. собр. стих. С. 32.

72

Poezye Adama Mickiewicza. (Стихотворения Адама Мицкевича). 2 части. Новое, доп. изд. СПб., 1829, в тип. К. Крайя, in 16, XXXIV. 284 и 300 стр. // Московский телеграф. 1829. № 6. Русская литература. С. 200–201.